

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
№ 11
Г. ЗАВРАЖНЫЙ
СТРАДА
ДЕРЕВЕНСКАЯ
164
308
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БИБЛИОТЕКА для
РАБОЧИХ и КРЕСТЬЯН
„ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ“ № 11

Г. ЗАВРАЖНЫЙ

СТРАДА ДЕРЕВЕНСКАЯ

РАССКАЗЫ



1923

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва • Петроград

VI. 21—VI—23.

Гиз. № 5194. Главлит. № 10504. Москва. Напеч. 10.000 экз.

„Мосполиграф". 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 71.

ГРИГОРИЙ ЗАВРАЖНЫЙ.

Биографический очерк.

Григорий Поликарпович Завражный писатель-крестьянин, автор рассказов из жизни нашей деревни, родился и провел детство в бедной крестьянской семье села Гремячего Тульской губ. Веневского уезда. С ранних детских лет Завражному пришлось испытать все тяготы и нужды жизни батрацкой. Лет с 12-ти нужда заставляет его оставить семью и пойти в батраки к сельским богатеям. Здесь, перенося тяжелый земледельческий труд, обиды и оскорбления со стороны грубых хозяев, Завражный прошел суровую школу жизни крестьянской. Грамоте учиться пришлось всего две зимы в сельской школе, оставить которую пришлось опять из за-тяжелой нужды и необходимости итти в люди.

По выходе из школы он вскоре же и забыл почти грамоту, так как в деревне не было ни книг, ни времени для чтения, да и вообще не принято было читать в глухой, забитой и темной деревне в то время. С 17 лет Завражный от-

правляется на заработки в Москву, пешком в лаптях, еле умея читать по печатному. Большой шумный город еще более сурово и неприветливо встретил пришельца. И здесь в поисках работы пришлось пройти целый ряд мытарств, пока он не приноровился к городской жизни. Тяжелая работа крючника на складах, служба в трактире кухонным мужиком, дворником, извозчиком и кучером у купца,—и много других самых разнообразных должностей пришлось пройти Завражному, зарабатывая гроши, которые приходилось отсылать на родину в семью, где ждали от него помощи, как от добытчика. Прельстясь заманчивыми картинками лубочных книжек Завражный стал покупать их на рынках и страшно увлекаться чтением сказок и необычайных приключений. С этого времени ему открылся другой, неведомый мир и мало-по-малу начал расширяться умственный кругозор и его потянуло учиться.

Подвернулся случайно хороший человек, молодой студент, живший в доме, где Завражный служил дворником, заметил любознательность парня и стал с ним заниматься.

Полученное таким образом знание помогло Завражному перейти на службу в качестве весовщика на железную дорогу и вскоре поступить в контору.

В то же время он начал писать стихи, некоторые из которых были напечатаны в одном московском журнале в 1888 г.

Вскоре Завражный был взят на военную службу, где он пробыл около 5 лет. По выходе со службы, он долгое время работает на железной дороге, затем на разных должностях в торговом деле, пока не переходит на литературную работу, выступая как писатель и журналист в газетах и журналах.

Соприкасаясь с родной деревней, зная хорошо жизнь и быт деревни, будучи сам природным крестьянином и болея ее скорбями, радуясь ее радостями, Завражный правдиво и верно изображает в своих произведениях всю жуть и темноту дореволюционной деревни. От рассказов Завражного веет таким духом правды, что порой становится не по себе, читая его произведения.

В его простых и необыкновенно точных и верных рассказах из деревенской жизни, чувствуется прежде всего близкое знание изображаемого им быта и знание чувств и переживаний героев его повестей, — трудовой крестьянской среды.

Подходя близко к крестьянскому коллективу, изучив все стороны сельского и волостного управления, Завражный до ужаса правдиво изображает общественную жизнь деревни и ярко рисует „мир“ деревенский и сущность сельской и волостной сходки. Основная и главная мысль всех почти его рассказов та, что деревня темна, невежественна, забыта, мужик легко поддается влиянию кулака и попа, но, несмотря на все это,

в деревне уже забрезжили лучи света. И писатель с необыкновенной любовью и тщательностью отмечает пробуждение деревни, осознание своего положения крестьянином и влияние этого на общественную жизнь деревни, проявление разумной активности в строительстве жизни.

После Октябрьской революции Завражный направил свое творчество в сторону изображения положительных сторон освобожденного крестьянства, он живо изображал революционную молодежь новой „красной деревни", и жестоко клеймил в своих бытовых рассказах кулачество, хамство, религиозный дурман и весь тот отживший, умирающий быт старой деревни, который кое-где на задворках проявляет себя вдали от света, обделывая свои темные делишки. В последнее время своей жизни Завражный помещал свои повести и рассказы в целом ряде изданий Советской России: „Красном пахаре", „Творчестве", „Голосе трудового крестьянства", „Пролетарском сборнике", а также принимая весьма ближайшее участие в изданиях и работе Всероссийского Союза крестьянских писателей. Много работал также в кооперативных и общественных организациях и умер на посту во время командировки по делам кооперативных объединений Центросоюза. Смерть застала писателя вдали от родины в Актюбинске Туркестанской области, куда пришлось ему выехать по поручению Центросоюза. Умер Завражный 54 лет от роду и похоронен

в общей братской могиле в 7 верстах от Актюбинска. В его лице Союз крестьянских писателей лишился одного из наиболее активных своих членов и яркого писателя.

Союз крестьянских писателей.

В СТРАДНУЮ ПОРУ.

Солнце скрылось за большим холмом, торчавшим, как верблюжий горб, за Кленовыми выселками, и в воздухе сразу потянуло бодрящей свежестью. День был знойный, томительный, и, когда село солнце, оставляя на краю неба малиновую полосу, сразу стало дышаться свободнее и охотнее располагало к работе.

На яровое поле медленно спускались мягкие сумерки. Воздух становился чище и звончее. Отчетливее слышался скрип проезжающих телег со снопами. Яснее доносились песни из деревни и с соседних полей, слышнее стучала молотилка на барском гумне. Кругом стрекотали кузнечики, дергали коростели, перекликались перепела.

Звучнее раздавались в чистом, звенящем, как металлические струны, воздухе широкие взмахи кос Мирона Дронова и его сыновей. Острые косы энергично врезались в густую стену спелого овса и, ползая со змеиным шипеньем, подрезали его под корень почти до самой земли и валили в стройные красивые ряды.

Мирон, плотный плечистый мужик лет пятидесяти, без шапки, с засученными рукавами и расстегнутым воротом посконной рубахи, шел впереди, за ним следовал женатый сын Василий, сильный парень с таким же смелым и открытым лицом, как и у Мирона, а за Василием косил Степан, смазливый малый лет девятнадцати, весельчак, неистощимый остряк, первый коновод на улице.

Тринадцатилетний Гаврюшка кормит на рубеже лошадей, водя их в поводу и выбирая, где получше трава, а два последних мальчика, Митька десяти и Федька девяти лет, оставались без дела и резвились по полю. Они то ловили бабочек, порхая сами, точно бабочки, то гонялись за кузнечиками, то выслеживали коростеля, который, как им казалось, кричал всего в нескольких шагах от них, но когда они подкрадывались к этому месту, коростель опять кричал где-то дальше; то они искали в скошенных рядах овса зеленые былки гороху, унизанные сочными стрючками, то кувыркались в зеленом овражке, примыкавшем к их пашням.

Им было хорошо чувствовать себя на просторе, ощущать эту чистую спокойную ширь и полною детскою грудью вдыхать свежий ароматичный воздух. Их захватывала эта своеобразная жизнь широких как море полей, радовали какой-нибудь красный цветок, пестрая бабочка, зеленый червяк или серая птичка, и они жили по-своему, по-детски, в этой величавой простоте, и пили здоровую радость природы.

— Митька! Мить!—звенел, как колокольчик, голос Федьки, возившегося в густой траве,—беги сюды, я кузнеца накрыл!

Митька бежал к брату, лез рукою под картуз и говорил, сияя от удовольствия, нащупывая пленника.

— А-а, попался!

Ночь все сгущалась. Воздух становился влажнее, гуще ложилась на землю роса, а с росою легче косилось. Много стройных рядов уже лежало на участке Мирона, но косить оставалось еще больше. Погрузясь весь в работу, Мирон ничего не замечал вокруг и упорно, настойчиво махал косой, с приделанными к ней длинными зубьями, как вообще он настойчиво работал всю свою жизнь. Он знал по долгому опыту, что все его благополучие тесно связано с постоянным упорным трудом, и Мирон любил труд, относясь к нему почти с благоговением.

Косы мало-по-малу стали тупиться. Мирон останавливался посреди ряда, обтирал рукавом вспотевшее лицо, вынимал брусок и точил. Точили вместе с ним свои косы и сыновья, и эта своеобразная музыка далеко растилалась по полю и бороздила тишину какими-то режущими звуками.

Мирон особенно старательно выточил свою косу и закурил трубку. В его голове почувствовалось легкое, приятное кружение, и медленно поплыли мысли, его обычные мысли о семье, о хозяйстве...

Мирон — хороший, опытный хозяин. У него было шесть сыновей, из которых двое были уже женаты, но он никого не пускал на сторону, а всем находил дело дома.

Жил Мирон нельзя сказать чтобы очень богато, но довольно сносно. Залежных денег у него не было, но стройка была исправная, хлеба и корму доставало, к нужному случаю была своя убоина, а главное он всегда во-время справлялся с повинностями, а уж это одно давало право причислять его к числу состоятельных домохозяев.

Осенью Мирону предстояло сдавать в солдаты Василия. Малого надо снарядить, справить честь-честью, и его проводы ввернут в копеечку, но главное с его уходом убудет в хозяйстве хорошая рабочая сила. Придется сделать целое перераспределение обязанностей, изменить весь налаженный порядок, а это все нужно обдумать, взвесить и примерить заранее.

Мясоедом надо женить Степана. Ему пошел уже двадцатый год. Опять предстоять расходы. Никак лишней копейки не загонишь. Не то, так другое, не другое, так третье. К будущей осени девка станет невестой.

От телеги доносился крик то озорной, то жалобный. Набегавшись и нарезвившись по полю, мальчики перессорились между собою и начали драться. Митька, как постарше и посильнее, одолел озорного Федьку, и тот, размазывая по лицу грязь, ревел и шел жаловаться отцу.

— Батя-а-а! — орал он, подходя к мужикам, — б-ать!..

— Чего орешь? — досадливо проворчал Мирон, которому не хотелось отрываться ни от работы, ни от своих дум.

— Митька-а-а! — продолжал реветь малый.

— Что Митька?

— Поби-и-и-л...

— Побил. Ну, поди дай ему сам хорошую лупцовку.

Но Федька шел за отцом и продолжал хныкать.

— Ну, чего ты? Поди полсани его вдоль уха, чтобы его слеза прошибла.

— Я с ним не слажу.

— Не сладишь? Ишь ты, беда какая!

Жалобы Федьки нарушили спокойное равновесие Мирона, прервали стройное течение его мыслей, а Федька, заправив руки в свалявшиеся белокурые волосы, продолжал орать.

— А-а-а! Э-э-э!..

— Ну, поди прохвати его, хорошенько, — досадливо крикнул Мирон, чтобы отвязаться от надоедливого сынишки.

Федька шел к телеге, где Митька старательно уничтожал почтенный шмат хлеба, загинал ему ругательства, а Мирон уходил опять в работу, и в голове снова роились мысли, мелькали планы и соображения. По временам он так погружался в свои думы, что коса как-то сама собой ленивее ползла по овсу, шаг замедлялся, и тогда Степан кричал сзади:

— Эй, вы, передние! Ходи веселей, пятки подрежу!

Тихая, прохладная ночь все глубже окутывала поле. Смолкли песни на деревне. Реже доносился с дороги скрип запоздалой телеги, а Мирон все косил и косил со своими сыновьми. У них уже ныли уставшие руки, дрожали и подгибались ноги в коленях, ломило спины. Но косьбы было еще много, и уже несколько раз, когда они проходили на тот конец пашни, Мирон, чувствуя, что пора дать ребятам отдых, говорил:

— Ну, ребята, еще по одному рядочку, да и спать!

Но докашивали по ряду, и Мирон опять соблазнялся работой и задавал новый урок. Наконец, он отер рукавом вспотевшую лысину, взвалил на плечо косу и решительно сказал:

— Довольно, ребята! Всего не переработаешь! Пойдемте-ка поужинаем, да и спать! Завтра день будет!

Гаврюшка давно уже спал, свернувшись в телеге, а привязанные лошади лениво дергали из-под него скошанный овес. Митька лежал под телегой, откуда торчали одни лишь его ноги, а забияка Федька растянулся рядом с оглоблей и держал в руках недоеденный кусок хлеба.

— Эх, бедняжка, не переехал краюху-то,— сострил по его адресу Степан.

Мирон достал из кошеля хлеб, домашнюю ветчину, выдвинул из-под телеги баклагу с водой, и они начали ужинать. Все торопливо, с

жадностью ели хлеб и мясо и запивали водой прямо из соска баклаги. Мирон старался ободрить уставших сыновей и отпускал шутки, но на них уже не отвечал и весельчак Степан. Усталость тянула к земле и его.

— Уж ложиться ли тебе, Степка спать-то? Не пойти ли на деревню похороводиться с ребятами!

Но Степан ничего не ответил отцу и только лениво улыбнулся.

Поужинав, косцы быстро улеглись на разостланном войлоке. Мирон положил с собою Федьку и, закрыв глаза, думал, засыпая, как-то на своем поле работает с бабами старший сын. Тихая звездная ночь обвеела его сладким покоем. Набегавший откуда-то ветерок шаловливо играл в его лохматой бороде, а Мирон засыпал крепким сном работника с твердым сознанием, что он все, что мог и должен, сделал за этот долгий трудовой день.

На востоке только что занялась заря, как Мирон вскочил, точно встрепанный. Спал он немного, но уже вчерашнюю усталость как рукой сняло. Румяная заря вливала в него новую струю силы и бодрости, и он весело кричал, толкая то одного, то другого сына:

— Вставай, ребята, проспали!

Ребята ежились от утреннего холодка, почесывались, протирали глаза, затем поднимались на ноги, подвязывали брусочники и брались за косы.

— Ну-ка, начинай, ребята! Не стоять приехали.

Опять мелькали сильные взмахи мозолистых рук, ныряли косы в чащу политого росою хлеба, издавшая шипящие звуки, и за косцами снова тянулись золотыми лентами красивые ряды скошенного овса.

Трудовая жизнь пробуждалась вместе с ведреным днем.

Загремели подводы по дорогам, заскрипели воза со снопами; откуда-то доносились перекликающиеся голоса, отрывки ухарской песни. Где-то ржали лошади, и переругивались бабы.

Солнце поднялось высоко и немилосердно жгло палящими лучами. Роса давно уже сошла. К косам приставала земля и затрудняла работу. От неосторожного взмаха осыпались зерна.

На лошадей нападали овода и мухи и жалили их до крови. Гаврюшка обмахивал их полыном, стараясь отогнать насекомых, но они вели энергичную атаку, и лошади отчаяно бились.

Надо бы уж бросать работу и укрыться от жары где-нибудь под навесом при барской усадьбе, но Мирон все завиствовал и который раз говорил:

— А ну—еще по одному рядочку!

После полдня, когда посхлынет жара и ослабнет овод, Мирон опять выедет в поле. За время отдыха он отобьет и выправит косы и снова так же будет работать до глубокой ночи и до ломоты в теле, а как только на востоке забрезжит утро, опять вставай и коси. И так каждый день до самой осени: то косьба, то пахота, то

молотьба, то возка и уборка; когда совсем уберутся с поля,—полегчает. Тогда и день меньше, да и дела не будет спешного; можно работать не торопясь, исподволь, а пока каждый час дорог,—валяй, ребята, не жалей силушки!

Под лежачий камень вода не идет.

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА РУШИТ.

Стоял сухой ведреный июль. Рабочая пора была в разгаре. Всякому хотелось убраться за погоду и все работали с лихорадочной поспешностью.

Утро. Солнце поднялось уже высоко, и становилось невыносимо жарко. Жгло точно в раскаленной печи.

Мужики бросали косьбу и, взвалив на плечи крючья, тянулись к деревне. Какая уж там косьба в жару, когда и пот одолевает, и забитая землею коса плохо режет, и сухое зерно течет из колоса. Давно уже собирается кончить и итти домой и Федор Любимов, высокий мускулистый мужик лет тридцати, с веснушками на загорелом лице и с густыми кудрями перевязанными узким ремешком, да как-то все никак не может оторваться от работы.

Он вышел в поле еще с вечера, как только легла роса на землю, косил всю ночь не отды-

хая, но усталости почти не чувствовал. Хотелось все еще работать.

Пекло горячее солнце, прилипала, мокрая от пота, рубаха к телу, жужжали и садились на лицо, шею и руки надоедливые мухи, но Федор не обращал на это внимание и налегал на косу. Что скошено, того не косить. Все равно его рук не минует.

Он остановился точить косу и, делая передышку, довольным взглядом смотрел кругом. Высокая крупная рожь с полным колосом, точно утомленная усиленным ростом, наклонилась в одну сторону и под яркими лучами солнца походила на золотое море. Не косить бы ее нужно было, а жать серпами. Но где же одной бабе повалить целых две десятины? Ей впору снопы вязать управиться.

Сердце Федора наполнялось радостью и об усталости не хотелось и думать. Шутка ли? Нынче с двух-то десятин он немного чего не соберет пудов четыреста хлеба; ведь это для него целое состояние. Он плевал на свои засохшие, мозолистые ладони, запускал в густую стену ржи косу и думал: прошлогодние убытки вернутся с лихвой, и труды не пропадут даром!

Мимо Федора шли уставшие мужики, кланялись, снимая шапки, и, завистливо поглядывая на его нивы, говорили:

— А с хлебушком ты нынче будешь, Федор Ефимыч! Экая чудесная рожь у тебя вышла! По всей обаполи такой не сыщешь. Благодать.

Свои труды,—отвечал Федор, останавливаясь.—На урожай грех пожаловаться. Он улавливал в тоне голоса мужиков и вполне понятную зависть, и какое-то скрытое почтение к себе и ему лестно было выслушивать эти завистливые восторги однодеревенцев. В особенности ему приятно было слушать, когда его, еще сравнительно молодого мужика, называли Федор Ефимычем.

Недавно как-то стали величать Любимова по имени и отчеству. Прежде его звали просто Федькой или Федюхой. Федька портной, Федюха шаршавый, только было ему и имя.

— Надо позвать Федьку шаршавого,—говорили мужики, когда собирались шить кафтаны или полушубки.—Приходи, Федька, к нам шить завтра, овчины вышли из дубки.

— Летом Федька, как и все мужики, работал по крестьянству, а зимой брал утюг за ручку и железный аршин, и ходил по дворам портняжить.

У Федора некого было послать на сторону заработать на подушное и на расходы. Один он был в семье работник и везде должен был поспевать сам. Его отец, портной Ефимка, умер рано, когда Федору исполнилось только двадцать два года. Опился вина на свадьбе у племянницы. Пришлось рано взяться за самостоятельное хозяйство, рано втянуться в заботы, к тому же хозяйство после отца осталось ему довольно разстроенное. Покойник любил выпивать, и по дому зачастую были упущения. За что ни хватался бывало он, все было не в порядке и все требо-

вало рук, расходов и затраты времени. Ни телеги у него не было настоящей, ни хомута порядочного. У Ефима так все и велось пополам, да на двое.

Семья теперь у Федора стала уж не малая: сам он, мать с женою, да четверо ребят мал-мала меньше, но жить он стал довольно сносно. Лучше, чем первые годы после смерти отца. Федор понимал, что ему с его семьей нельзя работать спустя рукава и надеяться на авось, да небось, как надеются другие, у которых есть помощники. Надо напрягать все силы и изыскивать средства зарабатывать больше, а то пожалуй и концы с концами не будут сходиться.

Посмотрит он, когда за стол усядутся семь ртов, и голова его заработает. Полезут в нее разные планы и соображения, и крепко задумается Федор над своим положением.

— Надо что-нибудь делать, а то они съедят меня совсем.

Ум у Федьки был подвижной, любознательный, характер упорный, настойчивый, и раз он забирал что-нибудь в голову, то непременно добивался своего желания. Не даром про него отец говаривал, когда он еще был только мальчишкой:

— У меня Федька, как бык упрямый. Уж если он что заберет в голову, колом из него не выбьешь.

И Федька сдвинул свое хозяйство с той устаревшей мертвой точки, на которой оно установилось при отце.

Однажды за обедом Федор взъерошил свои кудрявые волосы, пристально посмотрел на мать и сказал:

— А что, мать, я хочу тебе сказать... Я надумал купить швейную машину.

— Машину!—удивилась мать,—а на какие же это коврижки? Она, ишь, говорят, рублей сто, ай больше стоит.—Беда денежку родит.

И он купил швейную машину в рассрочку, засел работать дома, и дело пошло спорее. На деревне сначала недоверчиво смотрели на его затею, а потом говорили уже, когда нужно было сшить какую-нибудь хорошую, праздничную одежину:

— Это нужно нести к Федюхе. Такую вещь супротив его никто не может сделать. Чисто стал работать, мошенник!

Мать было отговаривала Федора от покупки машины. Смелый шаг сына страшил ее, и она нудно ныла над его душою, когда он вел с продавцом переговоры:

— Ох, малый, страшно! Не лезь ты в хомут! Обойдет тебя этот стрюцкий! Запутаешься в долгу и не выберешься!

— Ну что ж, матушка, пан или пропал!—весело отвечал он твердо решив осуществить свои намерения.

— Хорошо как в паны-то вылезешь, а ежели...

— Э, мать была не была! Трус в карты не играет!

Но когда у Федора работа пошла спорее и к нему понесла чистое шитво деревенская знать, она

увидела, что сын не ошибся. Вместо сомнения в ней уже росла и надежда, и уважение к нему. Иногда она, стоя у печки и подперев рукою щеку, смотрела, как хорошо и быстро шила машина и говорила:

— И скажи ты, пожалуста, какие мудрости пошли на свете. И скоро, и хорошо. А вот упокойник, отец твой, всю жизнь ковырял одной иголкой. Бывало, потеет, потеет за какой-нибудь поддевкой и когда-то, когда осилит.

Хотелось Федору как-нибудь улучшить и полевую работу. Он понимал, что урожаи у крестьян оттого именно ухудшаются год от году, что они плохо обрабатывают свою землю. Поковыряют ее кое-как допотопной сохой Андреевной, посеют и расти себе как знаешь.

— Нет, за ней тоже уход нужен. Вон у помещика земля такая же, рядом расположена, а хлеба́ куда лучше родятся. А почему? Мужикам нельзя угоняться за барином, у которого на одного земли приходится столько, сколько у них на все общество. Это Федор сознавал отлично, а все-таки, если начать обрабатывать ее лучше, можно получать больше и прибыли.

Портновская работа по зимам не переводилась у Федора, и к весне у него стали скопляться кое-какие денежки. Федор постепенно стал обновлять и свое крестьянство. То он плуг купит, то справит железную борону, а то однажды поехал на станцию получать деньги за шитво с купца Загребина, да вместо денег-то взял и привез от него веялку.

Мать, когда увидела хорошо отделанную выкрашенную веялку с чугунными шестернями и проволочными решетками, так и взвыла, всплеснув руками:

— И что ты только делаешь, парень, я уж и не знаю? Зачем ты покупаешь чего не следует? Берег бы какую ни на есть копейку-то, про черный день, у тебя вон детей полна изба без малого. Одних девок три штуки растут, об них тоже подумать надыть. Небось деньжищ-то сколько отгрохал за эдакую махину и не выговоришь.

Новенькая красивая машина резко выделялась среди грязных убогих телег, старых развалившихся сох и прочей хозяйственной рухляди и казалась старухе чем-то огромным и гораздо дороже стоющим, чем на самом деле стоила веялка.

Федор хмурился и огрызался.

— Ладно, мать, чай не маленький я. Знаю, что делаю.

А соседи прямо-таки поднимали Федора на смех.

— Теперь ему только имение свое купить осталось, а то всего навозил от Загребина.

Федор не обращал внимание на насмешки соседей и продолжал делать по-своему.—Ладно, смейтесь. Не тот смеется, кто смеется первый...

Федор пахал плугом, боронил железной бороною, сеял отборными семенами, покупая их иногда где-нибудь в экономиях, но все-таки на узеньких полосках, разбросанных по разным концам общинного поля, ничего особенного сделать не мог. В общине и время пахоты определялось

миром, и навоз начинали вывозить по назначению сходок, и не мало было всяких других стеснений, не дающих ему возможности развернуться посвоему.

По выходе нового земельного закона, зубовское общество перешло на отруба. Земля в Зубове не делилась с самой ревизии, а по новому положению такие общества, помимо их желания, считались собственниками и переходили на отруба. Федору пришлось на две души около шести десятин, и земля досталась порядочная. Его участок одним концом выходил к реке. Привыкшие исстари к шири и раздолью, мужики находили, что уж если вести мало-мальски сносное хозяйство на отдельном участке, то он должен быть по меньшей мере десятин в пятнадцать. Но для Федора и этот кусок имел гораздо большую ценность, чем разбросанные полосы по всему полю.

Федор все-таки не знал хорошенько, как и с чего начать вести хозяйство на своем участке, по-новому. У него не было опыта.

Летом как-то случилось Федору поехать в город на базар. Потребовалось купить передние колеса. Там ему пришла смелая мысль сходить поговорить к уездному агроному.

— Может что и скажет,—рассуждал Федор.— Авось, не выгонит.

Федор робко вошел в губсовет, несмело объяснил сторожу, что ему нужно; но когда его принял агроном, молодой жиденький господин в золотых очках и форменной тужурке, он увидел, что он вовсе не так страшен, и посмелел.

— Я к вам,—начал он, отвешивая поклон агроному.—Насчет хозяйства хотел поговорить с вами.

— Отрубщик? — сообразил тот, окидывая мужика любопытным взглядом.

— Так точно.

— Очень приятно. Садись, потолкуем.

Агроному очень понравилось, что к нему сам мужик, из какого-то глухого уголка уезда, пришел за советом. Значит, крестьяне сознают необходимость в существовании агрономической науки, ощущают потребность в ней, а когда так, то и цель его личного существования в уезде оправдывается.

— Отрадно, очень отрадно,—шептал он, усаживая просителя.

Он расспрашивал Федора, какова у него земля, сколько ее, чем он удобряет, чем пашет; много говорил об искусственном орошении, о минеральном удобрении, вставляя то и дело непонятные для Федора слова; давал ему советы и наставления, обещался выхлопотать клеверных семян и заехать как-нибудь сам посмотреть землю и дать указания на месте.

— Хороший человек, обходительный,—говорил Федор.—Обучен здорово. Половину не поймешь даже, что говорить. Все фосфорты, да азоты там какие-то. Мудрено.

Приехать в Зубово агроном не приехал. Не удосужился, должно-быть, а семян все-таки Федору выслали.

Первый клевер у Федора вышел довольно сносный. На свежей земле он должен был бы выйти лучше по первому разу, но стояла мочливая погода после посева, и его много повымокло. Но Федор был и этим доволен. Все-таки он запасся хорошим кормом на зиму. И его скотина зиму благодушествовала. Она выглядела и сытой и веселой. Его мерин, когда гоняли на водопой— поднимал даже хвост дудкой и пускался играть. К весне у другого мужика и соломы на корм вдоволь не было, а у него и лошадь, и корова, и овцы стояли на сене.

Мало-по-малу в Зубове невольно как-то стали относиться к Федору с уважением.—С головой парень, что говорить,—говорили про него на деревне.—И скажи ты, пожалуйста, какой деляга вымахался. До всякого дела дошлый, даром что отец был пьянчужка. И при обращении с ним его стали величать уже Федором Ефимычем.

Перед Пасхой Федор сдавал работу Загребину. Семья у Загребина была большая; были сыновья взрослые, девки невесты, и Федор почти что весь пост только на одного на него и работал.

Загребин купил где-то в эту зиму дешево целый вагон гречихи, хотел расторговаться с ней перед посевом и навязал две четверти Федору. Возьми, да возьми, Федор. Пристал без короткого. Федор было отнекивался.

— Куда мне столько, Гаврил Петрович? Мерки четыре, еще пожалуй, возьму.

— Э, парень, посеешь, бери! Семена-то какие! Ведь такой гречихи тут во всем уезде никто не сеет. Золото, одно слово. Спасибо скажешь после.

— Да ведь денег-то надо сколько; у меня и так расходов не мало.

Выжима Загребин, другому не поверил бы и одного пуда, относительно Федора не беспокоился. Он знал, что за ним не пропадет ни копейки, и продолжал навязывать.

— Да ладно, бери! Чего там толковать. Я о деньгах и не говорю. Отработаешь. Ай у нас мало шитва-то. Я пришлю тебе. На Фоминой поедет моя лошадь в Троицкое и завезет.

Федор разсудил, что если гречиха родится, то она, пожалуй, будет выгоднее овса.

— Ну, ладно. Привози, когда такое дело,— согласился он и засеял целых две десятины.

— Что-то ты, Федор Ефимыч, нынче на гречиху-то озарился? — спрашивали мужики. — Ай опять тебе что этот граном насоветывал?

— Да ведь ребятишек у меня много, пускай зимой отнечего делать жуют кашку,—отшучивался он.

— Он у нас все по умному,—язвил его дядя Силантей, который никак не мог примириться с мыслею, что Федор вышел дельнее его сыновей.

Гречиха у Федора вышла крупная, ровная, точно по одной былке насаженная. Июнь в этом году выдался теплый, с часто перепадающими дождями, и она как-то быстро вытянулась. К Петрову дню вся площадь, как белоснежной скатертью, покрылась цветом.

Федор радовался и в душе благодарил Загребина. Не навяжи он семян нешто ему пришла бы мысль посеять столько гречихи. А на самом-то деле овес был бы не так выгоден.

Он делал предположения, сколько можно будет выручить из ней осенью, куда распределить деньги. А мать его, сидя со внучатами у двора на травке, утешала их:

— Ну, детки, каши нынешнюю зиму, ежели какой беды не случится, не в проворот будет. Ешь—не хочу!

В Петров день с утра стало парить. В воздухе было, как в горячей бане. Дышать невозможно. Люди млели от духоты, обливались потом и прятались в холодок. Старики потирали свои согнутые поясницы, кряхтели и смотрели на небо.

— А беспременно нынче гроза будет.

К обеду по небу заходили какие-то темные зловещие тучки, кружась неуклюжими клочьями то в том, то в другом направлении, а потом с запада стало заволакивать все небо. Становилось темно. Вдали глухо и отрывисто, точно грозя кому-то, гудел гром. Огромные стаи мух, переполнявшие избы, притихли, прячась по щелям и закоулкам, нахохлившиеся куры шли на двор и забивались под навесы; собаки опасливо поджимали хвосты и, подозрительно озираясь, лезли в сени. Трава приклонилась к земле, цветы сжимались и свертывали свои нежные лепестки в трубочку, а листья на деревьях то и дело о

чем-то тревожно перешептывались. На гумнах, у кого сушилось растрясенное сено, шла спешная, лихорадочная уборка. Тут и там слышались озабоченные крики и торопливые понукания старших.

— Сгребай скорее! Тащи в сарай! Вали как ни попало в кучу!

В селе Осанове, в пяти верстах от Зубова, был престольный праздник и ярмарка. Разодетые девки и ребята, предвидя дождь, толпами бежали оттуда, боясь как бы не попасть под ливень и не попортить праздничных нарядов. Торопливо ехали мужики с лубками, косами, новыми колесами и кадками в телегах, усиленно настегивая тощих вспотевших лошаденок, спешили босые бабы с подоткнутыми подолами, со свертками, узелками и обливными горшками в руках. Взбудораженная пыль густым облаком висела над дорогой, садилась на лица и платье и лезла в нос, и в рот людям, вызывая зуд в горле и острую жажду.

Низко свиснувшая туча обложила все небо. Сверкала яркая молния, разрезая от края до края небесный свод, падали один за другим, то страшные оглушительные удары, а то с треском рассыпались широкие раскаты, похожие на то, как будто миллионы худых немазанных телег внезапно срывались с места и бешено неслись куда-то по ухабистой каменной дороге. В воздухе становилось тяжко. Пахло каким-то удушливым серным запахом и стесняло дыхание. На западе, на фоне темного, как пучина, неба, появлялись

то совсем белые, то серые и лиловые облака; они то бешено неслись куда-то, перегоняя друг друга, то безумно кружились на месте, наталкиваясь и громоздясь друг на друга и образовывая какие-то бесформенные горы.

Было жутко. Перепуганные ребятишки плакали и крепко жались к матерям и бабкам, цепляясь за их грязные поневы.

Федора дома не было. Он с женою уехал на ярмарку продавать пару баранов да купить кое-что для хозяйства. Домовничала одна старуха с ребятишками.

— Страсти-то какие надвигаются,— говорила она.—Туча-то идет с градом. Побьет теперь весь хлебушек!

Налетел откуда-то сильный ветер, ломая сучья с деревьев и срывая с крыш солому, вспыхнула молния, заливая все пространство ослепительным блеском, точно сразу загорелась вся вселенная, ударил гром, от которого земля вздрогнула и зазвенели стекла, и затем сразу, сплошною лавой, хлынул ливень.

В окна забарабанил дождь, а потом полетели крупные градины, с дребезгом разбивая тонкие стекла и врываясь вместе с осколками в избу.

Град со страшною силой сыпался, точно из гиганского грохота, отскакивал, ударяясь о землю, и получалась какая-то бешеная пляска ледяных шариков. Туча мало-по-малу сваливала за реку. Молния скользила по небу тонкой змейкой и уже

не давала того широкого блеска, какой разливался в начале. Гром, точно утомился от усиленного напряжения, гудел лениво и как будто потому только, что не хотелось совсем молча уйти из Зубова.

Ливень перестал. Сквозь тонкую пелену белых пушистых облаков просвечивалось голубое небо. С прояснившимся горизонтом на сердце делалось веселее. Но жутко было на улице деревни Зубова. Земля была покрыта толстым слоем холодного льда, скрывавшего под собою и черную пыль, и зеленую траву. Печально торчали деревья с обитыми и обтрепанными листьями, валялись поломанные сучья, сорванные с мест грачиные гнезда; зияли побитые окна в избах, торчали оголенныс стропила, с которых ветер посорвал солому. И вся деревня выглядела какой-то растрепанной, перепуганной и растерявшейся.

Опомнившийся от страха народ понемногу приходил в себя и высыпал на улицу. Теперь всем стало понятно, что случилось что-то огромное и неотвратимо-страшное. Еще не более как час тому назад, люди были веселы и беспечны, спокойно ожидая наступающую рабочую пору. Никто и не думал о грядущем несчастии, но все жили надеждами; теперь же все надежды разбились, и они почувствовали себя нищими, обездоленными и несчастными.

Мужики торопились в поле посмотреть, что стало с их посевами; некоторые шли с безна-

дежным отчаянием, заранее предугадывая, что все безвозвратно погибло; другие со слабой надеждой: а не пронесло ли грозовую тучу мимо: бабы бестолково метались в отчаянии из стороны в сторону и голосили, выливая свалившееся на них горе в причитаниях. Только непонимающие маленькие ребята не омрачали общим горем своих детских душ, и, засучив портченки, беспечно бегали по ручьям и собирали в полы крупные ядра града.

Федор вернулся с ярмарки мокрый, взволнованный и бледный. Его перемокшие кудри висели какими-то сосульками и прилипали к шее, лицо осунулось и сделалось строгим, в глазах блестел тревожный огонек.

Буря застала его в поле; пришлось кое-как укрыться с лошадью около ветряной мельницы.

Он видел тоже, что все то, на что он надеялся, погибло, и у него, и перед ним встал острый вопрос: что же делать?

Бросив неотпряженную лошадь жене, он, не заходя в избу, ударился в поле.

Град прошел полосой. У некоторых мужиков хлеб остался совсем нетронутым, а некоторые участки положительно выбиты. У Федора рожь уцелела, только полегла от сильного ветра, картошка немного попорчена, а гречиха выбита до основания. Вся с землей смешалась.

— Э-эх, не судьба видно, — вздохнул он. — Должно быть у этого клятого Загребина рука

тяжелая. Федор постоял немного, грустно посмотрел на погибшие труды свои и, махнув рукою, пошел домой. Дома бабы встретили Федора вытьем и причитаниями. Растрепавшаяся, с мокрыми волосами и в мокрой, прилипшей к телу, рубахе, жена прижала к себе ребятишек и, заливаясь в три ручья, причитала:

— Сиротушки вы мои горемычные, что же нам теперь с вами делать-то? И пойдем мы с вами по хрещеному миру просить подаяние... Мать хриплым голосом вторила невестке и тоже причитала:

— Детушки вы несмысленные, и не будет у вас сухой корочки, и придется вам голодать страшным голодом...

— Ну, чего вы развылись, точно по покойнике?—крикнул на них Федор, входя в избу и призывая к себе все свое самообладание.—Чего тоску нагоняете? И без того не весело. Не выть теперь надыть, да опускать руки, а думать что делать. Вытьем делу не поможешь.

Пострадавшие мужики упали духом. Кто продавал скотину и покупал семян и хлеба, кто кончал хозяйство и шел в работники, а кто запрягал лошаденку и ехал собирать по-миру.

Федор не растерялся.

— Ну, что ж теперича?...—рассуждал он, обдумывая свое положение. Надо как-нибудь выкручиваться. На подушное возьму деньжонок в кредитном товариществе, на расходишки зимою подработаю, а пока надо соображать, как беду поправить.

Он слышал когда-то, что если гречиху в цвету запахать, да посеять по ней рожью, то это будет одно из лучших удобрений, читал об этом зимою в стенном отрывочном календаре и решил воспользоваться случаем и сделать опыт. Он рассудил, что хотя гречиха и побита градом, но ведь она осталась на месте, значит, для удобрения одинаково будет годной.

— Эх, удалой долго не думает, взял да заплакал!—сказал он себе и, не медля, вспахал землю под рожь. И действительно, рожь у Федора превзошла самые смелые ожидания. Стена-стеной стояла. Никак косой не прорежешь. Не соломина держала колос, а настоящий тростник.

Много пришлось поработать Федору в это лето. Ни дня он не видел покоя, ни ночи, но зато насыпал зерном и полные закрома в амбаре, и все мешки, какие были, и порожние кадки, а соломой прямо завалил все гумно. Целых сорок копен было ее в двух ометах. Он еще никогда не видал у себя столько хлеба. Поглядывая на свое добро, Федор говорил теперь:

— Не бывать бы счастью, да несчастье помогло.

Теперь за Федором все уже признали превосходство. Даже дядя его, ненавистник Силантий, и тот был побежден и находчивостью племянника, и его энергией и тоже говорил:

— Ну и смел же ты, Федюха, в делах, леший тебя знает как, ничего не боишься.

— Э, дядя, смелость крепости рушит.

В МИНУТУ ОТДЫХА.

Над уснувшей равниной царила теплая майская ночь. Кругом ни деревца, ни кустика. Изредка лишь, вырисовываясь из-за высоких хлебов, на горизонте чернелись села и деревни, нарушая однообразие степи.

По обеим сторонам большой дороги склоняла цветущие колосья густая рожь. Почти ничем не нарушаемая тишина ночи, прохладный воздух и покачивание тележки распологали к лени и дремоте. Утомленные лошади шли шагом. Возница мой, сидя на облучке, сосал трубку и мурлыкал что-то себе под нос, а я, свернувшись в тележке, сладко дремал.

Время от времени до меня откуда-то доносился ленивый говор, как будто кто-то говорил по крайней необходимости, да слышалось поскрипывание плохеньких крестьянских снастей.

Убаюканный качкой, я было забылся сном, но меня разбудила песня, нежно прозвучавшая по безмолвной шири.

Я сел и весь превратился в слух. Вслед за первым раскатом голоса послышался другой, более сильный и смелый.

Не знаю, плакал ли певец, жалуясь на свою долю и изливая наболевшую душу среди безмолвия или он восторгался привольем степи и пел ей хвалебный гимн; в его голосе одновременно слышалось и унылое однообразие, как однообразна необъятная равнина, и ширь поднебесная, и стон тяжелый. В каждом переходе голоса чувствовалась какая-то своеобразная красота и поэзия. Песня росла, ширилась и могучей волной охватывала ночную тишину. Она проникала мне в самую душу; к сердцу подступало какое-то хорошее, теплое чувство и из головы вытесняло все суетные, обыденные помыслы.

Я спрыгнул с тележки и остановился, дожидаясь певца.

Сзади ехало подвод двадцать на роспусках куда-то за лесом. Мужики некоторые дремали, сидя верхом на крючьях и свесив головы, некоторые шли пешком по одному и группами, и изредка, прерывая молчание, кто-нибудь из них почешется и тихо, певуче спросит спутника:

— А что, Савелий, дадут осенью за мово жеребца пять красных?

И тот как будто очнется от забытья, обдернет рубашку, пощупает, цел ли у него кисет за поясом, потеребит свалявшуюся бороду и меланхолически ответит:

— Хто-е знает, парень, как будто надо дать, лошадь видная, а там хто-е знает.

И опять пойдут молча.

В средине обоза, скорачив крючья, сидел, наклонясь к переду и соловьем заливаясь, седой старик с густыми кудрями. Я пропустил его и тихонько пошел незамеченный сзади.

Степь ты Моз-дов-ская...
Э-о-э-х... Степь Моз-дов-ская...

выводил он, и голос его ласково, нежно рассыпался по степи и в сладкой истоме замирал в ее безмолвных объятиях.

Ах, да, широ-ко-о ты-и степь,
Э-э, э-э-э-эх. Да па-а-ра-ски-нулась...

тоскливо плакали звуки, а в ответ им где-то далеко, далеко рыдало невидимое эхо.

Далее песня переходила в трагедию, с глубоким чувством изложенную простым народным языком, и с каждым новым слогом, с каждой новой нотой старинного народного мотива исполнитель ее рос в моих глазах до большого самобытного артиста, который всю свою жизнь проходил за сохой-матушкой никем незамечанный и щедро расточавший свой дар по родным полям.

Я был растроган до слез его пением; он расшевелил во мне какие-то особые чувства благоговения перед народом и его творчеством. Тяжелое испытание прошел народ на своем историческом пути и не только не погиб, не выродился под тяжестью рабства и неволи, но еще создал широкую, раздольную песню и вынес ее из тьмы веков на своих богатырских плечах здоровую, бодрую и свежую, как румяное майское утро.

Когда он кончил, я было ринулся, чтобы сказать сердечное спасибо, но меня кто-то ухватил сзади за плечо и вполголоса заговорил:

— Ты не замай его, а то он застыдится и перестаня.

Я оглянулся. За мною шел мужик, присутствия которого я не замечал, но который, видимо, тоже был неравнодушен к пению.

— Он ваш, из одной деревни?—спросил я.

— Наш, Андрей Юрцов. Мы шишловские, верст осьмнадцать отселева.

— Хорошо он поет!

— Чего лучше. Насчет песни с ним спорников нет. Прямо соловей в лаптях. Он у нас завсегда с песнями: пашет ли, с поля ли едет. Должно и помирать будет с песнями.

Старик тем временем свернул цыгарку, молча выкурил ее и опять запел, но уже более тихо и грустно.

Ах, да не шатайся, да ты не валяйся,
Во по-лю-шке тра-а-вка, эх да в поле травка,—
Не тоскуй-ка, да ты не горюй-ка
По молодцу де-э-э-э-вица, эх да красная де-э-вка!

Плакал и сокрушался голос по горю девушки.

Не по мо-ло-дцу я девка-а горюю-у,
Го-рю-ю по го-рю, по своем я горю...

Еще печальней и тоскливей задрожал голос, делая страдальческие переходы на последних словах, и казалось, что плачет сама девушка о безвременном потерянном счастье.

Как бы проникнувшись грустным настроением певца, небо подернулось тучами и заплакало редкими, крупными каплями дождя.

Меня охватила томительная, давящая тоска, и еще бы одна грустная нота, и я бы готов был разрыдаться, но старик, видимо, и сам не в силах был продолжать эту унылую песню. Он молодецки тряхнул седыми кудрями и ухарски хватил удалую:

Как из Питера кума
В решете приплыла!
Ах, кум-куманек, кум мой батюшка.
Ах, кума моя Матрена, кума-матушка...

Внезапно раздавшиеся бешеные звуки закружились в воздухе и, как буйный ветер, понеслись по степи, разгоняя навеянную грусть. Беспечное веселье послышалось в этой песне, богатырская мощь, бесшабашная, раздольная удаль, злая насмешка над нуждой и грозный вызов судьбе-мачехе. Чувствовалось, что не слабый человек создал эту беспредельную удаль, а сам богатырь-народ.

Веретенами гребла,
Донцем парусила.
Ах, кум-куманек, кум мой батюшка...

заливался хохотом голос, и все хохотало вместе с ним: хохотали роспуска, трясясь по колеям и колдобинам, хохотала степь могучим эхом, хохотали проснувшиеся жаворонки веселым, звонким смехом, хохотали мужики, подхватив животики и посылая певцу одобрения.

— Ай да, старина, вот так разуважил!—выкрикивали они.—Сразу весь сон соскочил.

Этот доморощенный певец развернулся во всю ширь могучей натуры и на минуту властно покорил все окружающее.

— Каков наш дед-то? А?—заговорил, наконец, идущий за мною мужик. — И вот завсегда так; ежели он в ударе, да никто ему не мешает, то все нутро у него поет. Грустную затянет, так сердце кровью обливается, и душа на части рвется, а веселую хватит, так у тебя индо все поджилки заговорят. Все на свете забудешь в это время... Да...

Я молчал, подавленный впечатлением, а мужик продолжал:

— Вот теперь говорят, что в старину народ был глупый, жил как зверь лесной, хлебал лаптем щи и никаких понятиев не знал, а вот, как послушаешь старинных песен, так и того, чувствуешь, что души-то у русского народа хоть отбавляй.

В это время обоз свернул с большака на проселок. Мужик направился к своей лошади и крикнул мне вслед, снимая шапку:

— Прощения просим, милеющий.

Наступило ясное весеннее утро. Солнце торжественно выплывало из-за зеленеющих полей и обильно рассыпало лучи по широкому безлесному пространству. Я лег в тележке и закрыл глаза, стараясь забыться. А издали опять неслась песня старика, теряясь в степном пространстве.

Не одна-то ли во поле дороженька,
Эх да, во поле она пролегала...

„Мосполиграф“, 1-я Образц. типо-лит.